



И. В. ОДОЕВЦЕВА

Так говорил Гумилев

Гумилев говорил, что нет в мире высшего звания, чем звание поэта. Поэты, по его мнению, — лучшие представители человечества, они полнее всего воплощают в себе образ и подобие Божие, им открыто то, что недоступно простым смертным.

Он, как и Новалис, считал, что поэтам дается с неба интуитивное прозрение скрытой сущности вселенной.

Гумилев был уверен, что поэты могли бы замечательно управлять миром, они, по его словам, обладали не только интуицией, но и огромными политическими, дипломатическими, экономическими и прочими способностями, чувством чести и справедливости, короче — всеми достоинствами и высшим разумом, как будто им дано было вкусить плод Древа познания Добра и Зла¹.

«То, что поэты совсем особая порода людей, — говорит он, — понимают даже обыватели, презрительно отзывающиеся о поэтах, как о людях не от мира сего, т. е. принадлежащих, хотя они вряд ли с этим согласны, к высшему духовному миру».

Если скажут: пророк, ангел, поэт — никто не удивится, тогда как перечисление: пророк, ангел, инженер, архитектор или чиновник не может не показаться нелепостью.

Поэты имеют право гордиться собой, они составляют духовную аристократию каждого государства, им следовало бы воздавать почести и обеспечивать им привилегированное существование.

А как в действительности относятся к поэтам? Я и сейчас не могу вспомнить без стыда, как лакеи выкликали, вперемежку со всякими титулованными именами, «карету сочинителя Пушкина!».

Пожалуй, только в Италии четырнадцатого века правильно относились к поэтам. Когда распространился слух, что глава за-

говорщиков, Кола ди Риенцо, стал писать в тюрьме стихи, судьи и правительство пришли в смущение: поэта невозможно казнить².

Гумилев утверждал, что если сейчас, в революционное время, в России отдать власть поэтам, все сразу придет в порядок и Россия сразу станет первой в мире державой. Утверждение настолько парадоксальное, что я и тогда не могла с ним согласиться.

Но сам Гумилев безусловно обладал большими административными и дипломатическими способностями, крайней убедительностью и умением подчинять себе умы и души окружающих.

Начав довольно посредственно свою карьеру «поэтического мэтра» в «Живом Слове» и в «Литературной Студии» в конце 18-го года, он через несколько месяцев сумел стать одним из самых видных лекторов Петербурга в целом ряде тогдашних красноармейских клубов, в Балтфлоте, в Пролеткульте и проч., не говоря уже о «Доме Искусства», где его слушатели, участники «Звучащей раковины», просто боготворили его.

Свои дипломатические и административные способности Гумилев проявил также и в Правлении Союза Поэтов, в котором, он, свергнув его первого председателя, Блока, и заняв его место, добился многих льгот для поэтов, в том числе и специальных пайков.

В этом ему помогли его уверенность в себе и способность говорить с большой убедительностью, как власть имущий.

Однажды, возвращаясь из Бежецка, куда он ездил навещать мать, жену и детей, ему удалось спасти попавшего в беду одного из крестьян своего бывшего имения, арестованного милиционером за мошенничество.

— Освободите этого человека, — безапелляционно-важно приказал он милиционерам, — я его лично знаю и ручаюсь за него. Я — председатель!

И он торжественным жестом вынул из портфеля и протянул им большой красный билет, с огромной печатью серпа и молота.

Слово «председатель», хотя и без уточнения — председатель чего — и непререкаемый тон Гумилева магически подействовали на милиционеров. Они, взяв под козырек, удалились, оставив в покое не только мешочника, но даже и его объемистый мешок, в котором было не меньше пуда картошки.

Об этом случае, как и о некоторых подобных ему, Гумилев рассказывал с явным удовольствием, добавляя: «Я добиваюсь почти всегда того, что хочу. Впрочем, “почти” я говорю из скромности, так как я всегда добиваюсь желаемого. У меня железная воля».

«Железная воля»? — Нет, я далеко не уверена, что у него была железная воля. Иногда он мог показаться даже слабохарактерным. В нем было немало противоречивых черт.

Он впрочем сам сознавал такое обилие разнообразных и противоречивых черт в себе и считал это не недостатком, а большим достоинством.

«Во мне как будто живут несколько человек, совершенно непохожих друг на друга.

У каждого из них свои мысли, чувства и мнения, они часто спорят между собой, а как известно, от столкновения мнений рождается истина. Вот потому-то я всегда и прав», — объяснял он мне шутливо.

«Чем разнообразнее мысли и чувства поэта, — продолжал он уже серьезно, — тем богаче его поэзия. Прежде чем в стихах, поэзия должна воплотиться в самом поэте и превратить его жизнь в произведение искусства.

Сколько непомерного труда стоила мне работа над собой! Мало родиться поэтом, надо суметь остаться поэтом в продолжение всей жизни, до самой смерти.

Оскар Уайльд говорил, что гений свой он поместил в жизнь, а в свои произведения вложил только талант.

Я же хочу достигнуть полного равенства между моей жизнью и моими стихами...»

Но это, по-моему, не вполне удалось Гумилеву.

Он, как мне кажется, был замечательнее и больше, чем его стихи. Возможно, потому что слишком рано умер и не успел до конца проявить себя в своем творчестве.

Гумилев в годы, когда я его узнала, давно уже достиг совершеннолетия, — ему было больше тридцати лет, — но он все равно продолжал расти и развиваться умственно и духовно, как и он сам говорил:

«Я еще далеко не достиг всей полноты моего таланта. В сущности я еще почти в начале моей поэтической карьеры, хотя уже создал немало.

Я никогда не был вундеркиндом. Скорее наоборот, я сформировался поздно и поздно стал личностью. Только теперь, в самые последние месяцы, я начинаю по-настоящему проявлять себя таким, каким меня задумал Бог.

Я как-то не по годам молод, во мне столько не успевших проявиться рвущихся на свободу сил. Мне приходится сдерживать, обуздывать их.

Вот я, в прошлом году, начал писать поэму «Дракон». Писал со страстью, запоем в полную меру таланта. А вижу — нет, пото-

ропился. Надо еще подождать, “повзрослеть” душевно и умственно, накопить духовного опыта, чтобы окончить “Дракона”³.

Я уверен, что в будущем совершу многое, о чем сейчас могу только смутно мечтать и внесу нечто новое в русскую поэзию. Но об этом никому не говорите — слишком похоже на хвастовство.

Я никогда никому не подражал, я создал акмеизм, но теперь чувствую, что я перерос его, он меня больше не удовлетворяет, я готов отдать его своим последователям, пусть продолжают.

А сам я, по всей вероятности, создам новое литературное течение. Я еще не знаю ясно, какое, но чувствую присутствие его в себе, как женщина, которая у Брюсова несет в себе

“...Сосуд нерукотворный
В который небо снизошло”⁴.

Да, я чувствую, в особенности после “Заблудившегося трамвая” и “Цыган”⁵, что с акмеизмом покончено и я скоро, очень скоро произнесу новое слово в поэзии...»

Так говорил Гумилев, гуляя со мной теплым июльским днем в Летнем Саду, за несколько дней до своего ареста.

Я часто вспоминаю эту нашу последнюю прогулку и этот наш почти последний разговор.

Какое новое течение создал бы он?

Сколько я ни перебирала в памяти наши с ним разговоры, а их хватило бы на «фолиант изрядной толщины»⁶, я нигде не нахожу указаний, каким стало бы это течение и в чем бы оно могло выразиться.

Но мне все же ясно, что если бы Гумилев не погиб и действительно возглавил бы новое течение, наша современная поэзия, по всей вероятности, пошла бы по другому пути — вперед, а не устремлялась бы, как сейчас, назад — к футуризму дореволюционных лет.

Но это настолько серьезная тема, что она требует отдельной статьи, я вернусь к ней в другой раз.

